



НОЧНАЯ ПЕРЕПРАВА

Мокрое дело



НАДЕЖДА ЧАРОДЕЙСКАЯ

Надежда Чародейская

Ночная переправа

«Автор»

2026

Чародейская Н.

Ночная переправа / Н. Чародейская — «Автор», 2026

Сивый Брод — городок на девятнадцать тысяч жителей, где по документам нет реки. Днём на её месте газон, детская площадка и стенд «Озеленение сухой поймы, этапы 2011–2014». Ночью с первой звезды до первого света поднимается туман, в тумане — вода, на воде — паром, и на пароме стоит перевозчица. Так было до марта, пока не умерла бабушка Агафья. Наследство досталось Ясне Лебедь — двадцать пять лет, реставратор витражей, чемодан собран, предложение из столицы в кармане. Вместе с наследством ей достались: кот Буксир породы «мытые сны», журнал учёта на пятьдесят лет и жёсткие правила. Каждую ночь на паром поднимается один утонувший, у каждого — одна маленькая просьба, и о ней нельзя рассказать живому. Ясна может только устроить мир так, чтобы доброе дело случилось само. И никогда не услышит спасибо: плату перевозчице брать нельзя. В городе между тем идёт свой счёт. Пропадают люди. Не умирают — пропадают: их не помнит никто, кроме школьного журнала, графика смен и пустого стула на

© Чародейская Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава первая	6
Глава вторая	9
Глава третья	12
Глава четвёртая	16
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Надежда Чародейская

Ночная переправа

Пролог

Правила ночной переправы висят на двери сарая, напечатанные на казённом листе с водяным знаком горсовета и двумя опечатками.

1. По одному за ночь. Никогда больше одного.
2. Одна просьба на пассажира.
3. Всё — до первого света.
4. Плату не брать. Ни деньгами, ни едой, ни благодарностью, ни «я вам потом пригожусь».
5. Живому о просьбе не рассказывать. Никак. Никогда.

Про пятое я скажу отдельно, потому что оно выглядит как мелочь, а на самом деле это единственное правило, из-за которого у меня не будет ни сна, ни личной жизни, ни спокойной совести.

Утонувшие просят о мелочах. Не о чуде и не о том, чтобы передать привет на ту сторону, — за это берутся другие. Они просят о том, что любой живой может сделать за час: отдать ключ, забрать у соседа дрель, сжечь папку, досмотреть сериал, сказать жене, что кот любит не её, а его, — я не придумываю, это всё было, и не по одному разу. Большое с человеком уже случилось, поэтому просьба всегда маленькая. И вот эту маленькую вещь нельзя сказать вслух. Ты можешь только так подвести мир, чтобы она совершилась сама.

Бабушка делала это полвека и говорила, что работа простая: «Не мешай людям быть добрыми. Они сами рады. Им только повод нужен».

Сорок одну ночь у меня всё шло по правилам.

На сорок вторую в городе утонул человек. В фонтане. В том самом, который не работает с восьмьдесят шестого года и в котором живут одна лужа, три голубя и, по слухам, судьба города.

К тому времени в нашем городе давно сидел инспектор из столицы, который не верил ни в реку, ни в меня. А на площади стоял человек в очень хорошем пальто. Я тогда ещё не знала, что ни одну из своих бед он не устроил сам, — а я устрою ему последнюю.

Дальше я расскажу по порядку. Начну со дня, когда я была почти нормальным человеком и собиралась уехать из этого города навсегда, потому что у меня был чемодан, диплом и предложение из Старого Грома.

Глава первая

в которой я получаю паром, кота и долг

Нотариус Юлия Шило читала завещание с таким лицом, будто покойники причиняют неудобство лично ей, а заодно и всем живым.

— Итак. Дом по улице Мельничной, шесть, — она поставила галочку в бланке. — Сарай. Паром — одна единица. Вёсла — две штуки. Кот.

— Кот — что значит кот? — спросила тётя Стеша, которая пришла на оглашение в норковой шапке, хотя было двенадцать градусов тепла.

— Кот проживает по адресу, — сказала Юлия, не поднимая глаз. — Следовательно, является частью наследственной массы. Оценочная стоимость — одна условная единица. — Она выдержала паузу. — Также завещатель оставила внучке обязательства. Перечень прилагается.

— Тогда я беру дом, — сказала Стеша, — а обязательства пусть берёт Ясна, ей двадцать пять.

Так, собственно, и вышло.

Из нотариальной конторы я вышла с папкой: бланк о принятии наследства, лист А4 с пятью правилами и адрес вещи, которой, по документам города, не существует. На улице пахло весной и жареным луком из кафе «Дунай», где двадцать лет не меняли меню, и я стояла посреди тротуара и думала, что бабушка была бы довольна: она всю жизнь любила выигрывать то, чего никто, кроме неё, не замечал.

Телефон зазвонил через минуту.

— Ты взяла? — спросила мама.

— Здравствуй, мама.

— Я знаю, что ты взяла. — Мама работала в горсовете, в отделе благоустройства сухой поймы, и по работе обязана была не знать о существовании реки, поэтому говорила со мной так, как говорят с подозреваемым по телефону. — Ты взяла себе кладбище, дочь.

— Там нет кладбища, мама, там паром.

— Там нет парома! — рявкнула мама и тут же понизила голос, потому что в отделе у неё были стены из гипсокартона и сотрудницы с хорошим слухом. — Двадцать пять лет. У тебя предложение из Старого Грома. Ты поступаешь, как твоя бабушка.

— Спасибо.

— Это не комплимент.

— Я так и поняла.

Я собиралась уезжать. Чемодан был собран в марте, тогда же пришло письмо о работе в соборной мастерской Старого Грома, и тогда же, будто в насмешку, бабушка умерла и оставила мне жизнь, из которой просто так не уедешь: дом, сарай, кот и вопросы к горсовету.

В мастерской я работала под самой ратушей, в бывшей часовне, где мне выделили стол, свет и полное отсутствие отопления. По специальности я реставратор витражей: собираю цветные стёкла в цельную картину. Стекло не восстанавливают, его сохраняют, — это я умею объяснять начальству так, что витраж, которому четыреста лет, не становится хуже от потери трёх кусков.

Мой главный заказ был, конечно, у горсовета. Над левой лестницей ратуши висит окно со Святым Мартином, который рубит пополам свой плащ, и под ним, в нижнем клейме, — синяя полоса с подписью мелким готическим шрифтом: «Сушь». Река. На официальном витраже официального здания города, где официально нет никакой реки. Мама говорила, что это «историческая условность эпохи до пятьдесят третьего года». Я говорила, что это «историческая правда, за которую город не хочет платить за чистку», и мы обе были правы.

Вечером того самого дня я пошла на Мельничную, шесть — покормить кота.

Кот ждал меня на крыльце в позе человека, который знает про тебя всё и ждёт объяснений.

Его звали Буксир. Девять килограммов, окрас — «мытые сны», взгляд — «налоговый инспектор в третьем поколении». Он посмотрел на меня, потом на дверь, потом опять на меня и, не торопясь, пошёл к сараю так, будто ему платят по часам и он не хочет перерабатывать.

В сарае стояли две деревянные лавки, жестяной фонарь, зонт, зимние сапоги на два размера больше моего и общая тетрадь в дерматиновом переплёте, на которой химическим карандашом было написано: «УЧЁТ».

Я открыла первую страницу.

Почерк был бабушкин: наклонный, тесный, экономный, как будто чернила покупали на свои. Строки шли ровно, как в бухгалтерии:

Григорий Мох. 11 августа. Ключ от мастерской, под левым горшком у Тодоровых. Исполнено.

Рая. 12 августа. Дрель у Соболева — вернуть Радикю. Исполнено.

Ефим Червь. 13 августа. Просил не читать его бумаги, а сжечь. Исполнено наполовину: прочитала, потом сожгла.

Мальчик, имя не сказал. 14 августа. Достроить лодку из спичек. Исполнено. Буксир сидит на журнале третий день.

Я листала и листала. Сто страниц, двести, четыреста. Полвека по одной строке за ночь, и в каждой строке умещался человек, у которого от всего, что было, остался один неразрешенный пустяк.

На странице за сорок лет до сегодня — отдельно, сверху, с отступом, будто запись не хотели ставить в общий ряд, — было написано:

Ночь по счёту 411. Перевезла двоих. Оплачено.

Дальше наискось, другими чернилами, позже:

Долг за мной. Срок рекой не назначен.

Последняя страница была почти пустая. Последняя бабушкина запись сделана в марте, за три дня до её смерти, и обведена дважды:

5 марта. Ждать. Не моя ночь.

Дальше — ничего. Март, апрель, май. Сто ночей без перевозчицы — сто ночей, когда на паром никто не садился. И только моя Рая, попавшая в тетрадь на полгода раньше срока, торчала из середины, как заноза.

— Она это оставила мне специально, — сообщила я коту. — Она знала, что я из вредности приду.

Буксир зевнул так, что стало видно всю его внутреннюю политику, и улёгся на журнал, закрыв собой последние две строки.

В полночь часы на ратуше пробили двенадцать раз.

Часы на ратуше стоят с восемьдесят шестого года. Стрелки показывают десять минут четвёртого, а звон работает, потому что город давно решил: не трогать то, что работает, — это единственное устойчивое политическое убеждение Сивого Брода. Все к этому привыкли. Все знают, что в полночь они бьют правильно. Никто не спрашивает, зачем.

Я стояла на берегу, то есть на газоне, то есть на благоустроенной сухой пойме — там, где стоит стенд «Этапы озеленения: 2011–2014», а рядом написано, что «водный объект в границах населённого пункта отсутствует».

Потом по ногам потянуло холодом, газон кончился, и я сделала два шага вперёд.

Туман поднялся снизу, из земли, — не с неба пришёл, а вырос, как тесто. За туманом пришла вода, и вода была выше сухой поймы, выше газона, выше стенда, выше моих колен, и выше пояса. Она пахла рекой: рыбой, тиной, холодным железом. Над водой качался паром,

которого в реестре не было, а на носу сидел кот Буксир девять килограммов и смотрел на меня с выражением: ну, наконец-то.

А в тумане, шагах в двадцати, на берегу, стоял человек.

Он был в старом пальто с приподнятым воротником, в шляпе и с карманными часами на цепочке — держал их в руке и смотрел на них; по лицу было видно, что человек уже не торопится.

— Простите, — сказал он. — Я Кузьма Дудка, часовщик. Я у вас первый?

Честно говоря, стать перевозчицей утонувших в мои планы не входило. Но я не стала спорить с человеком, который двадцать лет чинил в этом городе все часы, а умер в семьдесят девять от гнева на смарт-часы. Из уважения к профессии.

— У меня просьба маленькая, — сказал он, подходя. — Даже неудобно.

— Слушаю.

И он сказал. И я стояла и очень внимательно смотрела на него, потому что одно дело — когда тебе объясняют правила на словах, и совсем другое — когда тебе на первом дежурстве сразу же, кроме просьбы, говорят ещё одну вещь: её нельзя произнести вслух и нельзя не выполнить.

— Только одно уточню, — добавил Кузьма Дудка. — Вы не Агафья.

— Я внучка.

— Вот и хорошо. — Он посмотрел на часы, потом на меня, потом опять на часы. — Значит, я вам скажу сразу: ваша бабушка задолжала мне одну ночь. Она это в тетради не записала, но я не в претензии. Я подожду, пока вы разберётесь.

Что сделал Буксир: улёгся на журнал учёта ровно настолько, чтобы закрыть этой ночью последнюю свободную строку.

Глава вторая

в которой я не произношу ни слова правды и делаю всё правильно

Перевозить оказалось просто. Ты стоишь на пароме, паром идёт, потому что река его признаёт, а не потому что ты что-то делаешь; вёсла нужны для уважения к реке, мотор — для уважения к гостям, и то и другое бесполезно, потому что река считает вёсла чужой собственностью, а мотор — насмешкой.

— Агафья так же стояла, — сказал мне Кузьма Дудка, глядя на воду. — И ругалась на мотор. Она его называла «этот шкаф».

— У неё был большой словарный запас.

— У неё был словарный запас, как у кота, который умеет говорить. — Он помолчал. — Я её знал сорок лет. Она у меня часы носила, две штуки, на той и на этой стороне. Часы — единственное, что тут имеет вес.

Мне полагалось молчать: по правилу номер пять нельзя ни врать, ни говорить правду, можно только не мешать. Зато можно было слушать, и я слушала про город: как в пятьдесят третьем приехали люди из столицы, привезли акт, постановили, что реки нет, и уехали, а вода в ту же ночь вернулась и стояла до утра так спокойно, что ни одной собаки в городе не залаяло. Про то, как бабушку в первый раз посадили на паром в семнадцать лет, в год, который она не называла никогда, и как она спросила «что я за это получу», а ей ответили: «ничего», и она согласилась, потому что семнадцать — это возраст, когда «ничего» звучит как премия.

На той стороне берег был свой, домашний, ничем не отличался от нашего: тот же куст, соседский сарай за кустом, тропинка. Только ни одного огня: окна были тёмные, и в этом было всё дело.

Кузьма Дудка сошёл на берег, как сходят с поезда: без суеты, без прощаний, сказал только:

— Часы до семи, потом уже не часы.

И туман сомкнулся.

За всё время работы я не получила от утонувших ни одной эмоции, которую можно было бы продать в кино. Никаких «прощай, мир», никаких признаний. Спокойные, деловитые люди, у которых есть одна неоконченная работа.

Просьба была такая: под верстаком в мастерской, в жестяной банке из-под чая, лежат часы. Женские, маленькие, разбитые. В семьдесят девятом году их об пол — нечаянно — уронила его жена Марья, и он пообещал починить и не починил, потому что был занят, а потом двенадцать лет ими не занимался из принципа. Перед тем как уйти, он их всё-таки починил. Три месяца возился. Теперь бабка сидит в доме напротив мастерской, злится на него, на весь мир и на меня, и показывать ей часы своими руками — не дай бог.

Оставалось три часа двадцать минут до первого света.

Мастерская стояла запечатанной с марта: две полоски бумаги крест-накрест, печать с гербом, а герб у Сивого Брода — я вам потом как-нибудь расскажу, что у нас на гербе, потому что это отдельная национальная боль. Сын Кузьмы, Трофим, сорок пять лет, агент по недвижимости, уже повесил на дверь свою визитку. Трофим хотел продать помещение под кофейню, часы из витрины — сдать на металл, отца — забыть.

Я подошла к витрине и посмотрела на часы в витрине. Семьдесят девять штук. Они все ходили. Трофим не мог их выключить, потому что не знал, как: он вырос в этом городе, но провёл детство за компьютерными играми и в мастерской отца разбирался в одном — в зарядке для телефона.

План был такой: часы выйдут из мастерской сами, руками Трофима, и он не поймёт, что выносит их именно он. Правило номер пять — это не только про правду. Это ещё и про то, что работа делается чужими руками — и на благо этих рук.

Дальше я работала три часа без единой нормальной мысли.

Сначала я позвонила в городскую газету и сказала голосом взволнованной горожанки, что в витрине бывшей мастерской Дудки стоят семьдесят девять часов, все идут, и это, по моему мнению, памятник, а не помещение. Потом позвонила Трофиму и сказала голосом строгой проверки, что поступила жалоба: мол, окна запечатанной мастерской светятся по ночам, а в городе, между прочим, был случай в двадцать первом году. Потом выяснила, что при продаже такого помещения нужна справка общества охраны памятников, и набрала это общество — а секретарём там была Рая — та самая, которой когда-то вернули дрель.

К половине пятого утра у мастерской стояли: я, Трофим в пижаме под пальто, Рая в шляпе поверх бигуди, два журналиста, охранник памятников по фамилии Гвоздь и кот Буксир. Первый свет был в пять двадцать.

— Открывайте, — сказала Рая. — Витрина — это историческая среда. Витрина — это лицо города. Трофим, вы что, будете это лицо сдавать на металл?

— Я не... — сказал Трофим.

— Я тут в семьдесят первом году была на приёме у зубного, а напротив — эта витрина, — сказала Рая, — и скажу вам, она уже тогда была лучше, чем вы.

Трофим открыл дверь сам, потому что боялся, что открыть придётся с участковым, и через двадцать минут семьдесят девять часов были вынесены на улицу как общественная ценность и выставлены на подоконник под присмотром охранника Гвоздя. В мастерской пахло железом и чаем. Под верстаком стояла жестянка.

Я вышла оттуда с женскими часами в кармане, за семь минут до первого света, и тут сообразила, что последняя часть плана у меня вообще не придумана, потому что Марья Дудка меня не выносит, а значит, придётся действовать в лоб.

Марья открыла мне в шесть утра в халате, с лицом человека, который давно никому не верит и получает от этого удовольствие.

— Тебе чего?

— Марья, — сказала я. — Я нашла в мастерской часы.

Она смотрела на меня секунду, потом на часы, потом опять на меня, и я по неопытности ждала, что она сейчас заплачет.

— Нашла, — сказала она. — Нашла она. Двенадцать лет лежали, и вот нашла.

— Они идут.

— Я вижу, что идут, — сказала Марья. — Я не слепая. Я спрашиваю: они отстают или спешат?

Я не знала — шли они ровно или нет, — и мне пришлось соврать, глядя ей в глаза, прямо на крыльце, в шесть утра.

— Отстают, — сказала я.

Правила про мелкое вранье у реки не было, и я решила, что сойдёт.

Марья кивнула, взяла часы, застегнула на руке, сказала: «Ну хоть что-то он сделал нормально», — и закрыла дверь. И вот тут, на ступеньках, до меня дошло, что она плачет. Не при мне. Через дверь. Тихо-тихо. Я стояла на её крыльце, за семь минут до первого света, смотрела в утреннее небо и не могла ничего сказать, ничего сделать и никому не могла объяснить, что вот это — слышное через дверь — сделала я. Мне никто не скажет спасибо. Никогда. Правило номер четыре: плату не берут. Река платит сама.

Река и заплатила: к дому я шла через площадь, и у фонтана мне под ноги упало что-то тёплое. Я наклонилась. Пятак. Мокрый. Я подняла его, посмотрела на воду в фонтане — воды там отродясь не было, одна лужа от дождя, — и пятак был настоящий.

Буксир сидел на газоне и смотрел на меня с глубоким, принципиальным презрением.

Дома я сделала в «Учёте» первую запись в графе, где полвека был только бабушкин почерк:

Кузьма Дудка, часовщик. Ночь 1. Часы жене. Исполнено. Семь минут в запасе.

Прим.: сообщил, что за бабушкой долг. Одну ночь. В тетради не записано.

И легла спать с чувством человека, который в двадцать пять лет унаследовал работу, из которой нельзя уволиться, кота, который дороже работы, и долг, о котором нельзя поговорить ни с одним живым человеком в этом городе.

Разбудили меня в одиннадцать.

На крыльце стоял мужчина в сером пальто, с папкой и лицом человека, который готов к тебе, но приличным образом. Из-за его плеча было видно площадь: машина с полосатой полосой, лента ограждения, трое зевак и моя мама, которая работала в горсовете и на площади бывала только по делам.

— Ясна Лебедь? — сказал он. — Инспектор Грошев, столичное управление. Тимофей Грошев.

— Здравствуйте.

— У меня к вам три вопроса и один протокол, — сказал он, раскрывая папку. — Вопрос первый: владеете ли вы плавсредством? Вопрос второй: если владеете, на каком основании эксплуатируете водный объект, отсутствующий в реестре? — Он помолчал. — Вопрос третий я задам после.

— А что на площади?

Инспектор Грошев закрыл папку и посмотрел на меня без всякого выражения.

— С марта месяца в этом городе пропали без вести двадцать шесть человек, — сказал он. — Ровно двадцать шесть. Ни одного заявления о пропаже — до сегодняшнего дня. То есть о двадцати шести людях некому было заявить. — Он немного наклонил голову. — Вы понимаете, что это значит?

— Что у вас мало работы.

— Это значит, что про этих людей забыли, — сказал он. — Все. Сразу. Кроме одного человека, который приехал из столицы и считает, а не верит. — Он снова раскрыл папку. — И ещё это значит, что мне нужен свидетель, который не путается в датах. Вы в этом городе единственная, кто не путается. Я проверял.

Кот Буксир вышел на крыльцо и сел между нами, как обычно садятся между двумя людьми, которые ещё не знают, что будут знакомы много лет.

Что сделал Буксир: посмотрел на инспектора так, как смотрят на человека, забывшего закрыть за собой дверь.

Глава третья

в которой меня берут в свидетели, а в городе не хватает одного человека

Инспектор Грошев вошёл в дом так, как входят в помещение, подлежащее описи: не здороваясь, но всё пересчитав.

— У вас сыро, — сказал он.

— У меня река.

— Река у вас в реестре отсутствует.

— Я тоже, — сказала я. — Вы у меня тут третий, кто это заметил. Чай будете?

— Я на службе.

— Тогда проходите в комнату, у меня там как раз прибрано. Это редкое состояние, надо пользоваться.

Дело было такое. В городе Сивый Брод, девятнадцать тысяч жителей, одна ратуша, один фонтан и ноль рек, работал инспектор столичного управления Тимофей Грошев. Он приехал весной и вёл то, чего в моём городе не водилось никогда: статистику. В Сивом Броде вообще очень не любят, когда кто-то считает. У нас считается дурным тоном замечать, что у соседа пропала жена, а у соседа через улицу — сын, а на лавочке во дворе сидят три бабки, а не четыре, как было всю жизнь.

Инспектор сел на табурет, потому что стул был занят котом, и кот был очень рад этому факту.

— Вопрос третий, — сказал он. — Кто ещё, кроме вас, видел вас ночью в среду?

— Среда была ночью?

— Не увиливайте.

— Газон на Кольцевой, — сказала я. — Там, где сухая пойма и стенд озеленения. Я там стояла. Со мной был кот.

— Кот.

— Кот — свидетель, — сказала я. — Он путается только в датах. Все даты у него — «вчера».

Инспектор Грошев не засмеялся. Он записал.

Он записывал всё, и это в нём было самое страшное. За четыре месяца в Сивом Броде он завёл четыре папки, три блокнота и отдельный лист на каждого, кто ему «показался непонятным», и я очень не хотела туда попасть, потому что в этом городе бумага — единственное, что не забывает.

— У меня к вам дело не про реку, — сказал он.

— У меня к вам тоже.

— Хорошо. — Он раскрыл папку и повернул её ко мне. — С марта месяца в Сивом Броде пропали без вести двадцать шесть человек. Я говорю «без вести», потому что правильнее было бы сказать «никак». Ни одного заявления. Ни одного объявления в газете. Ни одной фамилии в журнале регистрации смертей — поэтому я их не могу назвать умершими. Ни одной заявки на снятие с регистрации — поэтому я не могу назвать их живыми. Двадцать шесть человек, которые не живы и не умерли, а просто не пришли.

Я смотрела на список.

Список был больной. Такого не бывает в столичных протоколах — там все фамилии гладкие, ленты. А тут фамилии шли неровно, потому что собирались из разных мест: одна из адресной книги, вторая из очереди на протез, третья из журнала утилизации — у нас в городе старые приборы отвезешь и уже попадёшь в историю.

— Вы их знаете?

— Я знаю, — сказала я, и это было правдой наполовину, потому что я узнала дома. Дома я знала все: этот — где молочный павильон, этот — где колонка, а эту квартирку я обходила в восемь лет, когда разносила заказы из мастерской бабушки...

— Третий сверху, — сказал инспектор.

— Что третий сверху?

— Вы узнали дом. Вы не узнали имя. — Он чуть наклонил голову. — Это моя основная проблема. Все узнают дом. Никто не узнаёт имя. Мне нужен свидетель, который не путается в людях. Вы не путаетесь в датах. Я у вас вчера проверял: вы единственная в этом городе, кто на вопрос «когда это было» отвечает не «до войны» и не «при царе», а месяцем и числом.

— У меня работа такая, — сказала я. — Я составляю описи.

— Вот и составьте.

Я листала список и старалась дышать ровно, потому что в таких делах нельзя показывать человеку из столицы, что у тебя внутри что-то зашкалило.

— Этот, — сказала я. — Веретенников. Гриша. Этого я знаю.

— Он учился в вашей школе. Выпуск... — инспектор заглянул в блокнот, — ...девять лет назад.

— У нас в выпуске было двадцать два человека.

Инспектор Грошев повернул ко мне следующий лист. Это была фотография: наш класс, выпуск, серый день, школьный двор, двадцать три фамилии в списке и двадцать два лица на снимке.

— Двадцать третьего не хватает? — спросила я.

— Наоборот, — сказал он. — По количеству людей на фотографии всё сходится: двадцать два. Смотрите на середину второго ряда. Кто-то должен стоять между вами и Смоляр.

Я смотрела на снимок долго.

Между мной и Смоляр стоял пустой стул. Из тех вопросов, которые ты задаёшь в жизни: почему в классе на выпускном снимке в середине второго ряда стоит пустой стул, и почему все эти годы ни один человек не спросил, кого посадили на это место. Я вспоминала. Я очень хорошо, до звона в голове, вспоминала тот день: как было холодно, как классная руководительница ругала мальчиков, как мы фотографировались, как потом ели пирожки на подоконнике. Я могла вспомнить, сколько было пирожков.

Мальчика, которого нет, я не помнила.

И самое страшное было не то, что я его не помнила. Самое страшное было то, что я не могла поклясться, был ли он вообще.

— В классе их было двадцать три, — сказала я. — Я знаю, потому что журнал у меня. Он у меня в мастерской, я в прошлом году делала выставку по школе.

— И это единственное место в этом городе, где он ещё существует, — сказал инспектор Грошев. — Одна цифра в одном журнале. Всё остальное как отрезало. — Он помолчал. — У вас тут очень странные дела, госпожа Лебедь.

— Зато чистый воздух.

— Это не воздух. Это вода.

Он дал мне список, потому что «мне нужен человек, который проверит даты», и я его взяла, потому что мне до смерти надо было понять, что происходит в моём городе. И ещё потому, что у меня в очень старой тетради лежала короткая запись: «5 марта. Ждать. Не моя ночь».

* * *

Днём я пошла к маме на работу, в горсовет, в отдел благоустройства сухой поймы.

Отдел занимал две комнаты, в которых рос тридцать один кактус. Кактусы были единственные растения в городе, которым подходил климат отрицания: всё остальное, что тут пыта-

лись сажать, росло слишком хорошо, слишком быстро и слишком похоже на что-то, что может себе позволить ростки, а потом приходит комиссия.

Мама сидела за своим столом и держала лицо человека, который читает смету на газон и ничего больше не читает.

— Ты по делу?

— Я по наследству.

— По наследству у меня дела нет, — сказала мама. — По наследству у меня как раз столько дела, сколько мне не надо.

Я села. Сотрудница напротив, Тамара Борисовна, работала с такой скоростью, будто её двойной щелчок мышки подключён к её же сердцу, и я поняла, что говорить надо быстро и не про то, о чём надо.

— Перевозчиц в нашем роду было семь, — сказала мама вдруг.

У меня в горле сразу стало сухо.

— Что?

— Семь. — Она поставила печать. — Ты думаешь, ты первая? Агафья — не первая. До неё была её мать, до той — её. Все — по женской линии. То есть по той, которая у нас в семье как раз ничего не значит и не наследуется. — Мама подняла на меня глаза, и в них не было ни капли того материнского, что бывает у мамы, когда она говорит тебе про шапку. — Я отказалась. В две тысячи пятом. Бабушка мне сказала: «Нина, ты обязана», а я сказала: «Я не обязана, я в столице училась».

— И что было?

— Ничего не было, — сказала мама. — Ничего никогда не было. У тебя была счастливая семья, в которой никого не было. Поняла? Отказалась — и вот тебе двадцать лет тишины, я растила дочь и делала газоны. — Она снова поставила печать, не глядя. — Только у тебя в детстве была тётя. Ты про неё раз семь спрашивала, а я тебе говорила: не выдумывай.

— Какая тётя?

— Вот именно, — сказала мама.

Мы посидели молча. Тамара Борисовна за нами щёлкала мышкой, как метроном.

— Мам.

— Иди. Тебе в шесть заказ из ратуши забирать. И в архив не ходи.

— Я в архив и не собиралась.

— Я знаю, что ты собираешься. Иди.

Я встала и пошла к двери, и на выходе услышала то, из-за чего потом всю ночь держала спину ровно:

— И про свою последнюю ночь я ничего не знаю, — сказала мама мне в спину. — Я не хочу знать. И тебе не надо.

* * *

Ночь вторая.

Фёкла Медведь, пятьдесят два года, упала с лестницы в апреле, когда сама себе красила яблоню.

Просьба была такая: чтобы её сын спал.

— Он не спит, — сказала Фёкла, и по тому, как быстро она это сказала, было видно, что это у неё первая мысль каждое утро и последняя каждую ночь. — Он двадцать семь лет. Он в кондитерском цеху, у него смена с двух ночи. Он приходит домой в одиннадцать, ложится — и всё. И до самой смены он лежит с открытыми глазами и слушает.

— Что слушает?

— Меня, — сказала Фёкла. — Я по коридору ходила туда-сюда, я по ночам не спала никогда, я полночи так и топала. Он теперь лежит и слушает, как я не хожу. И не спит. — Она подумала. — Он носит мне на кладбище мандарины. Мандарины! Я всю жизнь их не любила.

— Я не могу ему сказать, — сказала я, потому что на первом дежурстве я была ещё честная идиотка. — Правило номер пять. Я не могу прийти к вашему сыну и передать слова. Я не могу ничего объяснить. Я могу только...

— Вот и делайте, — сказала Фёкла. — «Только» — это как раз то, что надо. Мне всё равно, как. Мне надо, чтобы он спал.

На той стороне Фёкла сошла на берег и напоследок сказала:

— Третья доска от угла, если что. Она подо мной скрипела. Я по ней всегда узнавала, что я дома.

Я вернулась, села на паром, посмотрела на часы и сделала первое, что в этой работе приходит в голову любой нормальной женщине: пошла в чужой дом ночью.

Дом Медведей стоял на Полевой, в конце, у забора. Дверь была не заперта: в Сивом Броде запирается только аптека, и то не от воров, а от бывшей заведующей. Я прошла через сени, где пахло сушёными яблоками и краской, нашла в ящике отвёртку и пачку фетра — у меня в мастерской такого добра на сто лет, я взяла его в сумку, потому что все реставраторы мира держат в сумке ерунду на любые случаи.

Сын спал, то есть лежал. Я слышала, как он лежит: дыхание было не сонное, а рабочее, как у человека, который несёт что-то тяжёлое и боится поставить.

Я сняла обувь и двадцать минут возилась с третьей доской от угла, с фетром и с отвёрткой, и материлась исключительно шёпотом. Потом доска встала на место, я подвигала её носком и поняла, что та звучит так, как ей полагается звучать у людей, у которых в доме тишина.

В маленькой комнате сын Фёклы сел на кровати.

Я присела за шкафом и первый раз в жизни поняла, зачем в доме нужен за шкафом зазор: чтобы туда могли влезть судьба, страх и пожарный инспектор.

Он сидел и слушал. Потом лёг. Потом встал, прошёл босиком по коридору — я слышала, как он ступил на мою доску, и как она молчит, и как он на неё ступил ещё раз, уже специально, всем весом, — и потом он пошёл и лёг, и через двадцать минут у него в доме стало слышно тиканье будильника, стену и улицу, то есть он спал.

Я вылезла из-за шкафа. Уходить было нечем: я не могла ни оставить записку, ни починить ещё что-нибудь, ни даже, честно говоря, поправить фетр, который я косо приклеила. Мне просто надо было уйти, и я ушла, и на крыльце я минуту постояла, держа ладонь у рта, как держат, когда некуда деть звук.

Правило номер четыре: плату не берут.

Река заплатила мне утром: бабка Медведиха, тётя Фёклы, вынесла на угол и поставила на скамейку банку с мёдом, потому что «мёд — он всё равно мой, а его никто не ест». В банке была одна мёртвая пчела, и это почему-то было приятно.

В тетради я записала:

Фёкла Медведь, 52. Ночь 2. Сон сыну. Исполнено. Доска, фетр.

И только закрыла тетрадь, как на той стороне, в тумане, кто-то зажёл фонарь.

Не на пароме. На берегу, напротив. Там, где огню вообще не с чего быть.

Это был человек в хорошем пальто, и он стоял очень спокойно, и когда понял, что я его вижу, он не стал прятаться. Он снял шляпу — так, аккуратно, как снимают на приёме, — и надел обратно.

Мне бы тогда уже насторожиться. Но я к тому времени первый раз за много месяцев спала нормально, а утром в тетради нашла новую строку, которой вечером не было, и она была написана не бабушкиной рукой и не моей:

Я подожду снаружи. — К.

Что сделал Буксир: спал на отвёртке и не дал её найти целых сорок минут.

Глава четвёртая

в которой я работаю бесплатно на организацию, которая мне не платит

Нужно рассказать, как это выглядит, если вы, как я, попали в профессию случайно.

Ночью ты идёшь на газон, где по документам нет воды, и до трёх стоишь на пароме как идиотка. В час ночи приходит человек, который умер, у него к тебе одна просьба, и он её произносит так, будто просит сигарету. Дальше — обычная работа в живом городе, часа три, руками. Потом рассвет, паром, тетрадь, дом, сон до одиннадцати. Днём — витражи, заказчики, инструмент, мама, кот, счета. И так каждую ночь, и не потому, что тебе надо, а потому, что если тебя нет, то, как я потом узнала, в городе кто-то исчезает. Но об этом — дальше.

За первые пять ночей я поняла про своего пассажира главное: они все приходят с ерундой, и эта ерунда — самое важное, что у человека было.

Ночь третья. Баба Нюся, восемьдесят восемь, ночная бабушка с нашей улицы, просьба: «Уберите эту грушу».

— Груша хорошая.

— Уберите.

Груша росла у соседа бабы Нюси, и ветка её росла там, где у бабули окно. Восемнадцать лет бабуля писала жалобы, и восемнадцать лет сосед Смоква отвечал письменно, что «ветка находится на его стороне ствола, о чём имеется дело». Ветка стучала по стеклу в час ночи, и от этого стука, я так понимаю, у бабы Нюси и скончалось сердце.

Я всю ночь думала, как заставить мужчину отпилить ветку, не произнеся слов «ветка», «сосед» и «привет от покойной».

К четырём утра я придумала. Я набрала Смокву от имени местного озеленителя и сообщила, что по прогнозу ветров на его участке имеется угроза: ветка, подлежащая кронированию.

— Какая ветка? — спросил Смоква.

— Та, из-за которой у вас дело, — сказала я и положила трубку.

Он отпиллил её в девять утра, ещё до завтрака, чтобы успеть опередить озеленителя и не платить. Горючее, как говорит моя бабушка на небесах, всегда одно: самолюбие.

Ночь 3. Баба Нюся. Груша. Исполнено. Смоква спилил сам, в 9:40, бесплатно.

Ночь четвёртая. Дядя Эдик, шестьдесят один, ветеринар, просьба: «Отдайте собаку не мне».

После смерти дяди Эдика бульдога по кличке Инвентарь (не спрашивайте) хотели забрать двое: племянник — с бумагами и клеткой, и соседка Роза — с костью, потому что восемь лет подкармливала собаку из-за забора.

Я открыла обе двери. Бульдог посмотрел на племянника, потом на клетку, потом на Розу у калитки и пошёл к Розе таким шагом, что племяннику стало видно: он в первый раз в жизни проиграл тому, у кого нет папки.

Ночь 4. Дядя Эдик. Собака — Розе. Исполнено. Племянник подал заявление, но к пятнице успокоился: у него кошка.

Ночь пятая. Девочка, шестнадцать лет, скончалась в феврале, имя не назову ни в этих записях, ни где-либо.

Просьба: «Сожгите мою тетрадь. И не читайте».

У бабушки в тетради учёта против похожей просьбы стояло: «Исполнено наполовину: прочитала, потом сожгла».

Я не читала. Я сожгла в мастерской, в печке, где мы жжём обрезки кальки, и следила, чтобы сгорело всё, и потом ещё полчаса сидела на табурете и никого не любила в этом городе.

Ночь 5. Исполнено. Не читала.

Между ночами была жизнь, а между жизнью — Гриша Веретенников, которого не помнил никто, кроме журнала и пустого стула.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.